

Сергей МОРЕЙНО

Сергей Морейно родился в 1964 году в Москве. Окончил Московский физико-технический институт. С 1986 года живет в Латвии. Издал более 60 книг (рассказы, стихи, эссе, переводы). Переводит с латышского, немецкого, польского на русский и с русского на латышский, развивая концепцию «Театра перевода». Среди авторов – Андрей Платонов, Бруно Шульц, Иоганнес Бобровский, Клаус Мерц, Чеслав Милош, Щепан Твардох. Лауреат Русской премии (2008), Премии Андрея Белого (2018), Премии «Мастер» (2021). Редактор «Рижского альманаха» (с 2021).

РАССКАЗЫ

Хиршберг

*Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.
Пылают башни и / обрушены соборы.
Andreas Gryphius. Thränen des Vaterlandes / Anno 1636*

Дане Бендицкому

Последние четыре месяца часто хандрю. Во-первых, осень, которая перешла в зиму, но лучше от этого не стала. Во-вторых, все как-то резко обрыдло. Слякоть-серятина, и невозможность ее на что-либо поменять, на желто-зелено-красное, давно ничего такого не менял и забыл, как делается. Проще говоря, лень менять и даже мыслить об обмене лень. Мысль как бы накручивается вокруг двух полюсов, выписывая восьмерки. И у спокойного полюса идет временное затишье. Кажется, все нормально, устаканилось все, но иным часом накатит, вспомню то одно, то другое. И сразу откат к беспокойному. А потом – в самый, казалось бы, ничего не значащий момент – внезапно обратное: будто кто-то обнял меня теплыми пуховыми лапами и согрел до самого внутри, до легких, до пищевода. Тогда отпускает.

В эти периоды я рассматриваю тонкие конструкты. Дело непыльное, если знать, как подойти. Но я располагал дневником Кшиштофа, отданным, то есть завещанным мне, а в нем были описания нескольких техник на грани классики и прорыва, и я копался этими инструментами сколько мог, пока не понимал, что именно тут ничего не нароешь. Однако в паре мест прорваться все-таки удалось. В предчувствии удачи я брал гитару и играл на ней заученные в детстве пьесы – до тех моментов, пока не сбивался и дальше не помнил.

Кшиштофа интересовали также Золотые дома, их след на физическом плане. Он говорил, что на данной территории до сих пор правят старые фамилии, и в это мне нетрудно было поверить. Передача государством семейных наделов, чинш, реестр, налоги, выборы наконец, – даже новые шоссе шли так, как того желали старые связи, потому что их русла были опутаны цепями кадастра и сервитута. Кшиштоф еще оставил флешку, вытащенную из мобильного телефона убитого русского ополченца. Он почти целый месяц провел там, на позициях, две недели по одну сторону – плюс две недели по другую. Его «передавали» противнику на бензоколонке, по предварительной договоренности. Поэтому он был уверен, что война удобна и тем, и другим. «Захотели бы закончить – развалили бы все заправки разом. Нет топлива – нет войны». А так – то были оазисы затишья, где происходил обмен пленными, валютой, наверняка – оружием, определенно – наркотой. На русской стороне он простыл и попросился домой. Флешка оказалось почти пустой, всего несколько фото: с девушкой перед отправкой на позиции; подвал, переоборудованный в укрепленный пункт;

дымы далеких взрывов. Лишь факт, что первый владелец флешки (и телефона) убит, придавал ей темную значимость. Ну, а последний – умер.

Стоя под душем, где, в общем, нечего больше делать, кроме как впитывать всеми порами горячую воду, я часто вспоминаю людей, имевших отношение к душевой кабине, квартире, ко всему нашему дому. Тот, кто клал этот кафель – умер. Тот, кто устанавливал бойлер – умер. Того, кто шлифовал половую доску, ночью на Е67 сбил трезвый водитель. Того, кто латал крышу, сгубил рак кожи. Того, кто шпаклевал стены, жарким майским днем нашли в собственной теплице – уже бездыханного. Сектант, обрезавший старые яблони: инфаркт. Потерявший голос певец, подстригавший живую изгородь – смерть от прививки. Обыкновенно насчитываю человек восемь, иногда – девять.

Если у меня кто-то появлялся, то мы в какой-то момент оказывались у Кшиштофа. За десять лет случилось трижды, нет, четырежды – немало. Он стелил в своем кабинете, крохотной комнатушке, заваленной книгами. Неважно, сидел ты в ней или лежал – везде достаточно было протянуть руку, чтобы взять какую-нибудь книгу с полки, из стопки или прямо из кучи на полу. Так проявлялся мой положительный тигмотаксис, мое стремление постоянно контактировать с ограничивающей поверхностью. В этом смысле я как грызун, бегущий в тоннеле: стараюсь не прервать отношения со стенкой. Периодически касаясь ее хвостиком или лапкой. А может, это генетически въевшийся под кожу способ прохождения катакомб. Нужно вести рукой по стене лабиринта, и когда-нибудь выйдешь наружу. Имея дело с многоуровневым лабиринтом, с мостами и петлями, надо отмечать использованные переходы. Я так, пожалуй, смог бы восстановить в памяти все разы: по книгам. Она пошла в душ – я вытянул наугад томик о любовных похождениях Тадеуша Бой-Желенского. Бой-Желенский запустил реакцию, вывел на свет караван своих подруг, их любовников и мужей, их палачей и подельников. С поляками вечно так. С тех пор, как их поделили, три демона раздробленной сущности, славянский, еврейский и германский, увиваются друг за другом, сочетаясь в феерических персонажах. Львовская профессура, ломбардское магнатство, тибетский туризм. Много стиля, еще больше эпатажа, в сумме – милые люди с большими, но мягкими комплексами.

Ei nun, güldnes Seelenlicht, komm herein und säume nicht. Свет души, златой, войди, ни мгновенья не годи. Сочинил Силезиус, херувимский странник. Силезия – не моя земля, хотя завлекала с самой юности и продолжает завлекать. Только раньше она была совсем абстрактной, я плохо представлял себе, где она расположена и как выглядит. В такое уже трудно поверить, а это истина. Я вообще домосед, для меня двинуться в путешествие за триста километров – серьезная акция, нарушение структуры. Говорю же: тигмотаксис, мышинный. Цвет ее коричневато-фиолетовый и призрачно-белый. Я определял его, исходя из блюда, которое научился готовить для гостей, приходивших к родителям – «зразы по-силезски». Силезские зразы, их теперь называют роладами. Надо было отбить молотком кусок говядины, закрутить туда ломтик шпика и чернослив, замотать ниткой, вывалить в муке, чуть обжарить, а после потушить. Мама покупала не слишком старую говядину, сало дед солил сам, а чернослив для компота у нас был всегда. Я исполнял, производя тушение в древней утятнице, оставшейся, как считалось, от лучших времен. Строго говоря, время ее было едва ли не худшим из всех возможных. Схема полностью меняла облик продукта и давала вкус, удивлявший взрослых. Они сковывали нитки, резали колобки пополам – там в бульоне плавал бледный лепесток шпика, который больше не был шпиком. Странно думать о Силезиусе и о шпике одновременно. Но это мое изделие, ролада, – уже тогда оно настроило для меня образ далекой неведомой земли. Morgenstern der finstern Nacht, der die Welt voll Freuden macht. Моргенштерн в ночи дремучей дарит миру счастья кучи. Звезда зари. Шпиковый полумесяц на сливово-говяжьем небосклоне. В ином переводе – оружие, булава-шестопер.

А сейчас этот лунный пейзаж сшит со мной намертво, но типа вживую, не только на макете. Как если бы метеорит ролады вырос до размеров Марса, ямки среди волокон стали

кратерами. Мучная пыль запорошила поверхность планеты. Чугунный лес щетинится на горизонте. Перекрученность нитей-дорог, угольные жилы, сетки пересохших каналов, вычурных черепичных крыш, местами промятых внутрь как подгнившее яблоко. И, конечно, холмы, взъерошенные, вздыбившиеся и опавшие. Карты безумия малого и среднего масштаба, религиозных и наследственных войн. Махалово: короли против дам. Габсбурги мочат Гогенцоллернов. Русские в Берлине. Гогенцоллерны лупят Габсбургов. Приход лесника, вынос пешек всех мастей со стола. Унд зо вайтер. Силезия выступает все сильнее как идея, неслышимый уху звук, а не линия или объем. Это зов существа по имени Рюбецаль в секретном регистре в недоступном диапазоне. Rübzahl – Репосчет, принц гномов. Он украл принцессу, унес ее под землю и на потеху ей наделал из репы подруг и свиту (ни дать ни взять карета для Золушки). Но репка, снятая с грядки, подсохла и сморщилась, подземный народец постарел, принцесса расстроилась и убежала, пока Рюбецаль пересчитывал остатки репы. Почему репы? Резонный вопрос. Почему та Силезия, что на карте расположена выше, называется Нижней (Дольной), а та, что ниже – Верхней (Горной)? Потому что в Верхней горы, а в Нижней – доли. Репа была картошкой своего времени. Она овеществляла идею, которая выше материи.

Есть всякие другие истории про изобретательную девушку в условиях неволи. Про Дюймовочку и крота, про дочку мельника и карлика Румпельштильцхена. Последняя поистине трагична. Король заключает прекрасную мельничиху в Kammer (чем бы это ни было), где она должна прясть из соломы золотую пряжу. В «каммер» является маленький человечек и помогает ей – за непомерную плату в будущем. Став королевой, мельничиха отказывается платить по векселям, зато узнает подлинное имя человечка, дико страшное: Rumpelstilzchen. Тем самым она обретает над ним власть, и, не в силах этого выдержать, он разрывает себя за ноги – напополам. А Рюбецаль в отсутствие принцессы выжил и до сих пор хозяйничает в силезских недрах. Принц гномов – разумеется, джокер. Или пешка, прошедшая в королевы. Для принцессы нет соответствий. Румпельштильцхен – прусская быль о взбесившемся карле. Силезия – сказка об убежавшей принцессе.

Она взялась ниоткуда года полтора назад. Стояло лето, переливавшееся к осени, такой же, что и в этот раз. У меня имелаась иллюзия, мол, все вернется на рельсы, настанет осень правильная, с пылающим багрянцем, а поверх выпадет чистый снег. Но ничего и не сходило с рельс, дни катились по ним, один за другим – теплые, сырые и без контрастов.

– Начнем с имени, с чего-то ведь надо начинать!

– Елена.

Эти две фразы всплывают в голове не спрашиваясь, во время лекции, например. У них есть цвет и запах, запах неизбежно коррелируется с цветом – если цвет золотистый, то мандарин, если серебристый – то лайм. Чуткость к запахам сохранилась тоже с детства. Точнее будет считать: с юности; в юности запах стал решающим в вопросе – с какой из девочек можно бы «подружиться». Еще не было известно, как технически «дружат», еще не было известно, как пахнет там – в месте, что вслух называлось разными именами, но про себя только так, «там»; не было известно, пахнет ли там вообще. О том, чем пахнет «то», добрая часть ровесников даже не догадывалась.

Нынешние – дело другое; нынешним знание «того» вкладывалось уже с пеленок, то есть с памперсов. Я проводил в летней школе факультативный урок о тексте мемориалов, о том, что они хотят собой сообщить, повествовал о дизайне, об архитектуре, о переводе травмы в язык гранита и мрамора. Ученики сидели просто на партах, кое-где обнявшись, акселераты и десятиклассницы с сиськами под тонкими свитерами. Некоторые выглядели красавицами. Слушали пристально, а я не знал, куда девать глаза. Пялиться на их сиськи, которые повсюду – не к лицу, отворачиваться – глупо. Рассказывая, думал о собственной жизни как бы за стеклянной стеной. Без разницы, кто в аквариуме, ты или рыбки: зависит от уровня дискурса. Как посмотреть, от этого. «Такие рано увядают», – утешал себя. Еще

улыбки, чаще всего улыбки обнажали их незрелость, их лягушачесть; русалочки улыбки пока что некрасивых утят – всё еще некрасивых, пусть даже прекрасных уже.

На самом деле я уверен, что ее звали Нина. Как отрезало тот кусок в мозгу, где хранятся имена. А имена важны. Я вслушиваюсь в имя Румпельштильцхен и слышу его обреченность, имя человечка трудной судьбы. Но Рюбецаль – вполне крепенький кнехт, с рогами, правда, и с копытами; хват Репка, которого дед посадил, а тот вышел, пописал деда и опять сел. Разницу между Ниной и Еленой я однако не ощущаю. Не удивлюсь, если у нее было двойное имя, как у Марии Терезии. Королева Австрии еще имела три имени, но они ей не шли. Нина Елена могла быть Ниной Еленой Ольгой, но Ольга лишняя. Возможная причина моей нечеткости, кстати, – мобильный бар Кельских. Он представлял собой детскую машинку, из которой вынуты сиденье и педали, а вместо них встроены минибар в виде специального ящика. Там стояли и бутылки, и рюмки с бокалами. Машинку пускали по кругу, от гостя к гостю, и каждый наливал себе что хотел. Первые круги Адам называл «квалификацией». Славная семейка! Дочь у них была такой сексапильной, что сами они ее с собой в гости не брали. Никуда, лет с тринадцати. Потому что когда она тихо садилась в уголке и читала, обнажив шею и свесив взрослые груди, не только мужики, но, бывало, и тетки то и дело посматривали в этот уголок, и всякая умная беседа таким образом останавливалась.

– Нам нужно пересмотреть отношение к смерти, – вещал профессор Кельский. – Если смерть может быть случайной, насильственной, волюнтаристской, если один человек способен относительно легко убить другого в драке, а священная жизнь ничего не стоит, или жизнь вообще ни капли не священна, то... такая картина не может лежать в основе нашего бытия и существования. Внутри – то есть не на внешний взгляд, а по внутреннему устройству круговорота жизни и смертей все должно быть иначе, – в вершинах клаузу выразительно взглядывая на Стасю.

Я тут, конечно, подшлифовываю немного этот вдохновенный спич, как я его понял: не надо считать смерть конечной остановкой, поезд идет дальше. Не в царство небесное, а навстречу иным рубежам. Отсюда: марш, марш, Домбровский, унд зо форт – рукой подать до великой державы. Все это, конечно, подразумевалось, а не называлось. Сегодня назвать свои ожидания можно только очень близким людям. Все жаждут мира, но ожидания у нас в серьезной степени кровавы: как с той стороны, так и с этой. Экран в той части гостиной, которая была кухней, показывал новости. Беззвучно мелькали улыбки женщин во власти. Улыбка сознания своей правоты, которую сотрет только смерть. Улыбка разочарованной ненависти. Улыбка понимания, всепрощения и вновь сознания своей правоты. Мимика не будила эмоций, это был целиком условный план, но совсем сдвинуть его в виртуальность не удавалось. Он продолжал проникать в коллективный разум как отравляющий газ, как «Циклон Б», изобретенный тем парнем из Вроцлава, что параллельно спас человечество от голодной смерти. Поскольку она исключительно молчала, а мне хотелось проникнуть в ее сознание, я тоже задвинул спич, вроде того:

– Война – это начало и конец. Как только принял решение, что ты воюешь – все делается легче. Люди, которые воюют всегда – это не воины, а бойцы. Война имеет цель, иначе это игра, шахматы. Герой довольно труслив в жизни, предпочитает избегать драк, чреватых ими ситуаций, зато там, где нужно – неудержим. В драке ничего не достигнешь, разве что сохранишь чувство собственного достоинства, но за каким дьяволом оно нужно? Война – это сразу о многом и о многих... – Дальше не помню, я смешался, показалось: все смотрят на меня, а она нет, тогда за каким?!..

Так и не получилось выяснить, произносил ли кто те две фразы в реальности. Разбиваю сцену покадрово: гостиная Кельских, бежевые тона, паркет зрелого мандарина, резкая белизна скатерти на овальном столе, девственная утварь в ожидании первой еды, голое плечо Стаси. Ее приветственный взмах. Машет вдалеке, а вблизи, помехой взгляду – женщина. На внешний взгляд – того плана, что затрудняют начало общения, поскольку не

знаешь, куда смотреть, с чего начать с ними: подавляют... Первое впечатление – большие и гладкость. Плоски глаз и гладкость остального облика в том смысле, что не за что зацепиться. Две-три линии без особых углов, две-три плоскости без лишних пятен. О таких глазах говорят – «озера», но с тем же успехом могут быть «болота»: тонешь в них без всплеска. И кто выговорил «Елену»? Она сама или Адам, отвернувшийся от стола и произнесший ритуальную фразу:

– Начнем с имени, с чего-то ведь надо начинать!

А кто-то сверху подключился:

– Елена.

Но уверен, что Нина. Коса – или даже косища, – уложенная вокруг головы.

И еще: она сильно и остро пахла. Ничем.

С этого места начинается кино, которое прокручиваю много раз. Фильм сбивчивого монтажа, с неясной музыкой, но мощно осевший на мозговых бобинах. Фишка вот в чем – похоже, внутри застрял пресловутый двадцать пятый кадр, где вместо выброса ужаса таится нечто доброжелательное, к примеру, ключик от каморки папы Карло.

Звонок осенью в мой корпус, столько-то недель спустя: «Это я». Соображаю. По голосу узнаю – Нина, то есть Елена. Как я смог узнать голос? Она же все время молчала. Может, представилась, а после умолкла? Но я-то в ответ не представлялся! Значит, не мне было сказано. А я и не претендовал. Спускаюсь на спортплощадку перед зданием, там стихийный паркинг теперь, но она не там, дальше. За черным литым забором две линейки кленов, за ними улица, на ней тоже паркуют авто. Сейчас почти пустая. Я не разбираюсь в марках, у самого нет и быть не может: не могу водить. Мои говорят – мол, брежу, а я себя знаю. Переходя на светофоре улицу, имеющую два ряда или больше, не сомневаюсь, что застывшие перед зеброй автомобили дрожат как возбужденные шершни: только и ждут, чтобы ринуться на меня и размазать по асфальту. Но ее машину я идентифицировал. Примерно такую, только красную, Джейсон Борн водил в первом фильме про себя. Давно запала в душу мечта о справедливом супермене, только не как магнат Бэтмен или пижон Горец, а о незатейливом, с хитрецей в духе Микки-Мауса. Пули в спину и падение в океан отбили Джейсону память, и он стал человечным супером. На похожей тачке рассекала его будущая девушка, а потом и он сам, правда, на красной. Эта была поновее: более дутая, нажористая и – белая.

Стоит на противоположной стороне улице, водительское окно открыто. Помню, я удивился – подрули она со стороны кленов, проще было бы пригласить меня внутрь. Не хочет, значит. Подумал и не стал обходить, все равно мимо никто не едет. Встал перед ней, она вытянула руку, взяла меня за кнопку на куртке. Я удивился еще больше – как-то по-детски вышло, за кнопку. Лицо непроницаемо, будто пергаментная бумага. Она вся выглядела непроницаемой – как целлулоидный резервуар или белый кожаный футляр. Именно – как одна перчатка, натянутая на нее сверху и украшенная корзинкой лютиков.

– Адам рекомендовал вас как руинознатца, в своем роде уникального.

И подняла, отпустив кнопку, руку повыше, а я лишь взял ее одной рукой и накрыл другой. Не догоняю, как лучше поступить. И задерживаю, как будто приклеившись. Она руку отбирает, не улыбаясь:

– Не делайте так больше, пока я сама не сделаю.

Машинка съехала вниз, и глазам открылась гигантская вырубка. Не сплошная, нет; чистка леса, прореживание. Тут и там валялись – где штабелями, где внахлест – толстые бревна. Но и оставшиеся деревья были толстенными, может, не такими старыми. Было ясно, что они тут не погулять вышли. На нескольких холмах стволы были составлены в определенную партию, не знаю только, в какой игре. Они стояли не одну сотню лет, хотя, наверное, не дольше трех. Возможно, продолжив их стволы лучами до пересечения с небесной сферой, удалось бы прочесть послание, написанное лазерной каллиграфией. Но мы имели дело исключительно с их подножьями, далее объясню, отчего.

Забыл сказать, к ней на лицо вернулась мимика. Руля, она свободно поглядывает по сторонам и периодически улыбается. Не обязательно мне. Напротив, она чаще улыбалась вселенной, природе. Четирем полицейским на заставе. Психу, не сумевшему ее обогнать и сильно потом отставшему – от стыда, наверное. Вопреки типу, как я тогда его определил, улыбка оказывается совершенно детской. Пытаюсь понять, что делает ее детской, и меня осеняет – невозмутимость. Она улыбается несокрушимо, словно зная, что за ее спиной какие-то зрелые силы держат мир в надежных руках. Атланты, что ли. И так она рулит несколько часов подряд с одной остановкой на туалет и пончики на «Орлене», то забирая вверх, сильно, то спускаясь чуть-чуть. Под конец – вырубка, солнце по осенней мерке еще высоко, чудовищные буки окрашены нежно и вскользь, неуловимо. Проехал трактор, притормозил в жуткой грязи, удивился. Улыбнулась ему – тот рыкнул и подымял своей дорогой. Посреди вырубки кусок неразъезженной земли и пышный клен, зеленый-презеленый. Под ним мы встаем, кругом – непролазная грязь. Завалы из бревен, за ними – ручей или речка, за речкой – почти отвесная стена леса. Видны мостки и тропа, ведущая междухолмием к чему-то невидимому. Где глинистыми подсохшими отвалами, где по буковым стволам пробираемся к воде, мостков больше не видно, земляное блюдо загнуто по краям. Она чистая, а я гваздаюсь, спотыкаюсь и роняю бумажник, он намокает изнутри. Пленка рвется, затем восстанавливается, журчание воды давно позади. Птиц нет. Холмы по сторонам сухие, а мы идем черной сырой тропой: приходится постоянно смотреть под ноги, чтобы не поскользнуться. Оттого, как я уже говорил, видны только комли.

Еще передо мной ноги и зад в белых штанах, материал блестящий, но мягкий. Марс какой-нибудь. И она, марсианкой в скафандре, выточенная из одного куска, идет впереди меня по сектору пространства, не определяемому с помощью GPS. Смотрю, как ставит ногу, наблюдаю родство между ее ногой, землей и проступившими сквозь почву корнями. Упорно лезет выше и выше, лес редет, под стволами лежат камни, обломки каменных сцепок. Руины застигают на полдороге как сон, проваливаемся в него. Оборачивается – нэцкэ, моржовая кость, – и замедляет шаг. Ворота из тесаных глыб, столбы, блоки. Ее присутствие начинает давить неожиданной естественностью, внезапной принадлежностью ко всему здесь, что мне, присяжному руинознатцу, остается чуждым. Чем, собственно, так и волнует меня – чужеродностью, трансцендентом. Я – гость, она – каким-то образом – дома. «Женское, – объясняю себе, – женственное всегда ближе земле, плоть от плоти». Лоно от лона – определяю красиво. Она лучится странным: не хищным, а растительным; терпко, тяжело. Невыносима близость ее внутреннего ядра – тяжестью ореха в скорлупе, которую не расколоть. Попутно, но еще сильнее, чем всегда, мучает вопрос: зачем нужен замок на горе, лишенной смысла, откуда ничто не просматривается и не простреливается? Даже если срубить все деревья – а все их рубить нельзя, иначе нарушится послание в облаках, – ничего не просмотрится и не прострелится.

Волочь сюда камни, известь, железо, кормить сотни зодчих? Я знаю ответ, с самой первой руины. Вечно эти замки одной частью стремились к экстазу, к свету, и вечно прочими частями вываливались во тьму, в приземленность власти. Это не просто видимый уровень, это – ментальная сеть, выведенная во внешнее пространство изнутри хаоса, разъедаемого желанием тех, кто в нем правит, за что-нибудь уцепиться. Их позывы застыли и обернулись известняковыми монстрами. Входя в их зону, их мнимое отсутствие и пустоту, всякий раз испытываю гнетущее чувство: некие объемы скручены в пучок так, что возник вход в горловину этого пучка. Входное зияние намечено (или скрыто) рядом распавшихся конструкций. Войдя туда, ощущаю, как координаты объемов магнитятся ко мне, поглаживают меня, маркируют. Сам я, передвигаясь, возмущаю обнимающие меня пространства, но не могу долго выдержать и покидаю их. Те не отпускают, сворачиваются в мелкое нечто, умещающееся в кулаке; в моей воле выдавить их оттуда – и всё сначала.

Термически обработанный комок белка с ниткой по всей спине. Снаружи ждет она, белое тело невозможной массы, ее гравитация. Встать перед ней, нагнуться, опуститься на колени, чтобы она возложила руку мне на голову и освободила меня? Сделаться мелким,

чтобы поместиться у нее во рту или за пазухой? Она подходит ко мне и берет меня за палец. У меня прерывается дыхание и замирает сердце. Принцип неясен, но что-то в этот момент соединяет меня с чем-то большим, чем она сама, она одна. Она улыбается лично мне, безусловно, победительно даже, показывает мне снять со спины рюкзачок, достает оттуда термос и разливает кофе в пластиковые стаканчики. С горячим стаканчиком я иду вдоль стены и вижу торчащий из древней кладки железный болт. Единственный предмет, прошедший обработку огнем, если не учитывать пожары. Кофе и железо, стакан и болт. На головке болта сидит винная улитка, смотрит на меня, выставив рожки. Завитушки панциря наводят на спасительную уловку. Энергетические кольца кругом, наброшенные на холм властителями хаоса: подцепи, собери, снижи в пирамиду, будешь как Бэтмен. Или Джейсон Борн.

Вакельдакель на полочке за задним сиденьем. «Здравствуй, сосиска плюшевая, – реплика без звука – и варьируется в зависимости от того, помню я, кто сидит под стеклом, или нет. – Что, франкфуртер, дождался, не съели тебя!» Путь вниз оказался удобнее, чем путь вверх – древний грек ошибся. Разглядываю машину, ее женские атрибуты – как впервые. Это ведь купе – по одной двери с каждой стороны. Ничего лишнего, – так можно охарактеризовать, пускай кажется, что всего в избытке: фары-глаза и попа-вакельдакель. Дорога в молодом хвойном лесу, какую иногда видишь с шоссе, сидя в высоком автобусе, когда аккуратный шофер, входя в поворот, едет не чересчур быстро, и ты замечаешь иной ракурс леса. Простая и чистая, не разбитая, лишь присыпанная иголками дорога, абсолютно абстрактно соотнесенная с тобой, нечаянно рождает некие надежды, которым – как ты с неизбежностью, когда автобус уже выходит из поворота, понимаешь – не суждено сбыться. Она ведет медленно и вальяжно, словно автобус. Успеваю заметить, что серые камни у обочин напоминают уснувших овец – а овцы издали напоминают ожившие камни. Другой вопрос – нужны ли эти надежды?

Зрительный баланс нарушается мертвым зайцем.

– Бедный заяц, – сосредоточенно объезжая.

Пауза.

– Откуда...

Пауза.

– ...ты знаешь, что это был заяц? Кошка же!

– Заяц.

– Да кошка – полосатая кошка.

– Я не видела никаких полос.

– Но откуда ты знаешь, что именно заяц?

– А вот – размер, ноги такие заячьи. И уши.

– Ты видела уши? Где?

– На голове!

Она упрощается, приближается, что ли – всплывает со дна, выныривает из нирваны. С непривычки пугающе, но не так страшно, как то, что привычка образовалась за неполный день. После зайца она говорит не переставая. Мягким ровным голосом, плавно покачивая руль. О древних племенах: во времена камышовых хижин над озерами, когда озера еще летали в облаках, они, может, и умели, а теперь понастроили себе... О велосипедистах, выскочивших было на шоссе, как пара живых зайцев, и тотчас метнувшихся обратно: всегда несутся не думая, не дай бог задумаются и врежутся в дерево, как теноры в опере, всегда очень глупые, не то начнут задумываться, а смогут ли спеть так, но они не думают, поют и поют, как велосипедисты... И о шесте для прыжков в высоту. Девочка Эвелин занималась прыжками, довольно удачно, думала – а вдруг ее возьмут на олимпиаду в Сидней, как же она повезет свой шест? Может быть, у взрослых спортсменов шесты разборные? Но тогда они могут сломаться. Спросить не у кого, слишком интимный вопрос.

«Эвелин!»

Откручиваю назад, пускаю пленку медленнее. На повторе – ее мягкая уверенность, спокойствие, прописанное в лице, в движениях, но она скорее уверена не в самой себе, а в окружающем мире, уверена в том, что мир вообще блажелателен и не доставляет людям особых поводов к волнению, если, конечно, люди сами не жаждут поволноваться. Это относится к всем – к ней в частности. Тихие узкие дороги. Ее наступившее в результате зайца согласие со всем – повернем туда? – повернем! – при этом вера в то, что все творится согласно ее желанию. Мой дополнительный страх – не хочу знать о ней больше, чем уже знаю, хотя не знаю почти ничего. Вдруг она знахарь, хербалист, новый специалист какой-нибудь, умеет что-нибудь лучше прочих, у нее масса контактов, востребованная женщина делается чужой и непонятной – не ревность, какая ревность, с чего бы? – просто я, со своими конструктами и схемами, – давно функция, и боюсь узнать, что и она – тоже функция. Свернули на старый, забытый богом немецкий поселок. Отдельный сюжет: дома срослись как сорняки и живут собственной жизнью, появляются дома-хищники, дома-миссионеры, дома-пьяницы. Она, Эвелин, съезжает на грунтовку между асфальтом и заброшенными рельсами, затем, прямо через рельсы, на гравийку, камешки постукивают по днищу. Она по-прежнему невозмутима, да и длится это недолго. Слева высвечивается небольшой пруд или озерцо, справа пригорок, за ним – холм. Там, на фоне до сих пор не погасшего неба, в тускловатой роще царит над округой одна-единственная древняя стена, плоская, с дюжиной разных проемов и створов, более ярких, чем она сама: могучая, отрицающая рощицу, озеро, время, нас. Руля в горку, Эвелин забирает правее, к отдельно стоящей группе построек, мы швартуемся во дворе дома-лепрозория. Как выглядит большинство лепрозориев, я не знаю, но это определенно он. Сплошной темный проем в массиве холма. Она выходит из машины без единого слова, белея на фоне некрашеной или облезлой деревянной стены – но делая останавливающий жест, когда я, хлопнув дверью, собираюсь следовать за ней. На пороге дома оборачивается. Я откуда-то помню этот полуоборот, где-то я его недавно видел.

Дверь, вопреки ожиданию, оборачивается без скрипа. Туда-сюда, туда-сюда. Ко мне, прихрамывая, направляется человек. Исходя из габитуса – местный житель. Вижу, как он хромает – несильно, едва-едва, вижу в темноте, понимаю, что там у него с ногой, мениск, застарелая травма. Ну, всяко случается. Свежевыстиранное белье плещет на ветру, шпагат натянут от дома к сараю, если это сарай, а не хлев и не конюшня. Нет, внутри трактор, я-то вижу. Хозяин вытягивает из внутренней кишени ватника принадлежности, скручивает сигаретку, протягивает. На дворе тепло, чистое лето. Мы курим, одну на двоих, я пробую догадаться, что он здесь делает. Что здесь делаю я – вопросов нет. «...Говорит, для тебя патриотизм – пустой звук, а это не так. Я тоже люблю свою землю, мой замок на холме, вон, видишь, все это люблю, но я люблю вообще все – а не одно свое. Я знаю, что приеду в Данию – и меня там так расколбасит! Я пойму, что я умирал уже когда-то. Очень важно время от времени улетать в бесконечность, иметь канал в бесконечность...» Лай собак – чего вы раньше не лаяли? – и я пропускаю половину фразы. «...Заменяет бесконечность. Это как женщина, с которой ты можешь спать, когда хочешь, и делать все, что ты хочешь». Речь замедляется, слова протяжны, игла еле-еле скользит по диску. «Твоя женщина, она умеет руками утишать боль, она массирует, производит круговые движения, прокачивает пальцами дырочки вокруг колена, и боль уходит, ходить становится легче». Только что я понятия не имел о том, что Эвелин – моя женщина. Стоит ли сомневаться?

– Я тебя научу снимать паутину. Перед сном, лежа на спине, расслабь живот. Левая рука на два-три пальца ниже пупка, поверх нее – правая. Направь обе ладони в солнечное сплетение. Думай, что держишь руками не живот, а горячий шар. Это непросто. Когда добьешься, осуществится сдвиг. Расскажи себе о нем – как? Правая рука должна стать всечасной! Всечасно чувствуй ее, в мыслях ею делай: пили, строгай, работай топором. В мыслях бей грушу, можешь выдумать себе врага, но бей со всей силы. Можешь идти по улице, воображать, что на тебя напали, а ты одним ударом всех сбил. Лучше бить в живот. Через время явится ощущение руки, всечасной, могучей. Как явится, прикладывай руку к женскому животу. Как станет всечасной, сможешь убирать паучью рябь, отовсюду.

Когда я утомляю его своим молчанием, он, не выдержав, рубит сплеча: «Ты когда дронишь, одной рукой дронишь, так? Другой не можешь! Потому говорят: придрочился, значица, установил контакт».

– Хорошо, – отвечаю я, – только я не дрончу.

– С такой-то бабой и не дронишь? Да ведь это самая сладость, дожидаться, когда она на дойку уйдет! Вообразил ее себе – и вперед...

На этом смонтированный фильм заканчивается. Дальнейшее я собираю в обратном порядке, при сборке немного сглаживая ритм: от точки невозврата – к точке устройства на ночлег в гостевом доме-вилле под названием «У Оленя». Вилла была старой, до войны ее наверняка называли «Цум Хирш».

Номер на верхнем этаже. За окном обрыв к петливой реке, омывающей подножье холма, но реки не видно. Видна хвойная поросль, немного подрастающая к горизонту, а у горизонта – горы. Окно открыто в туман, в нем редкие фонари означают ведущую к городу дорогу. Если высунуться поглубже, на пределе видимости можно заметить глазастый белый «вакельдакель», знак моей неожиданной связанности. Я вылез достаточно, чтобы разглядеть, но никого и ничего другого в этой – где глухой, где переливчатой – мгле я не вижу. Изгиб мрака вроде нерезкой просеки – как если бы злой дух прорывался, ломая лес, к заповедным далям. Неплохо бы протрезветь, но выпрыгнуть ради этого из окна уже не решусь.

Решимости я был полон всего четверть часа назад. В честь феста коридор лучился свечами, они то держали ровное пламя, то всколыхивались разом, информируя, что где-то открылась и закрылась невидимая дверь, вызвав мимолетный сквозняк. Свечей было много: те, что потолще и покороче, могли сойти за фаллические символы. Перехватив мой взгляд, Нина четко вычислила причину волнения. Поразмыслив пару десятков секунд, сделала влажные глаза и купировала мою нервозность двумя фразами. Они так и звучали у меня в ушах, пока мы поднимались по лестнице. «Сегодня ничего не будет, – сказала она. – Завтра». На пороге комнаты она скользящим движением ухватила меня указательным и большим пальцем за щеку, деликатно втиснув мне в рот мизинец и вода его кончиком по языку. «Многие в таких случаях, я имею в виду первый, – она поискала слово и нашла: – особый вечер пытаются взять какую-то высоту, а нам никакие высоты брать не придется, мы будем просто наслаждаться тем, что вот мы здесь, без лишних знаний друг о друге, без обязательств...» А я показал рукой себе за спину и покивал головой и потряс другой рукой так, чтобы ей стало понятно – на улице я что-то уронил и должен спуститься, ненадолго. Но никуда не пошел, а тупо стоял под дверью – недолго, те самые пятнадцать минут, в течение которых размышлял, как бы понадежнее убить себя, чтобы больше ни от кого и никогда не зависеть.

Надо же – многие...

Из бара мы добрались на такси, в такси сидели сзади, она положила пальцы на мою ладонь и накрыла сверху моей же ладонью. В баре пела прибалтийская группа. Ее язык был настолько певуч, что рок-н-ролл звучал попсой – солист съезжает в попсу, а за ним и прочие музыканты. Елена оказывается на редкость заводной, она движется как ящерица. Под белой курткой обнаруживается обтягивающий черный свитер с искрой. Она потеет, на лбу капли пота, она наконец-то пахнет – корицей. Перейдя некоторые грани, я слизал каплю пота у нее со лба, она укусила меня за ухо. Выглядело утверждением ее ритуальной власти надо мной, как нанесение метки, тавра. Я хочу протрезветь и умыться лицо. В туалете имеет место сцена. Возле рукомойников ко мне безо всякой причины подваливает высокий нарик с грубым испитым лицом и расстегнутой на животе рубашкой. Думаю, ограничилось бы отрывистыми пробами оскорбить друг друга и тычками в плечо, но – вспоминаю – в туалет быстро, как бы танцуя, входит человек с красивым, но неуловимым лицом – в неуловимого вида одеянии – и неуловимо быстро, без каких-либо намеков на дискуссию, бьет наркомана в подбородок – секунду-другую глядит, как он с глухим стуком ударяется о деревянную стенку кабинки – разворачивается и выходит, уже не видя, как тот медленно сползает на

кафельный пол и обнимает толчок. Вернувшись на танцпол, вижу тревожное лицо Нины – она не танцует, а пританцовывает; видит меня, окрыленного чужой победой, и радостно улыбается мне навстречу, потом снова серьезное лицо, она отворачивается, ловит чей-то взгляд – и снова бесхитростно улыбается мне.

В «Квятомате» я покупаю ей цветы, бессмысленные в гостинице, но украшающие прогулку. Она помахивает тюльпанами, похлопывая себя ими по колену. Еще днем, стоя на мертвом донжоне, на той комбинации камней, что от него сохранилась, я сознавал, что мой порядок рухнул, знал, что влип, что погиб, что наилучший выход – это броситься вниз, но там некуда было бросаться, заросли на склонах экранировали любую попытку броска.

В городе и сегодня все напоминает о войне, даже реклама «для мечты нужны крылья»: темно-зеленая при свете огней лужайка, в траве лежат дети, на них упала тень самолета. Не сразу понимаешь, что это – модель, пилотируемый самолетик. Чудится, наоборот, зловещее: тень охотника, он вот-вот отбомбится по этим детям. RemEmber me – в витрине ювелирной лавки.

Выйдя из ворот на серпантин, опоясывающий холм и освещенный фонарями, я – не знаю, зачем – заговорил о Кшиштофе. О том, как он, придя домой в результате трипа по регионам, исчез на полтора года в Западных горах, о его поисках жестких конструкций, о полотнах, покрытых линиями и плоскостями, где доминировали лезвия и щиты. О том, как вдова передала в Национальный музей искусств два цикла картин: один, посвященный альпийской кухне, – серия портретов жареной козы, и другой, представлявший образы казненных европейских политиков, – причем изображены они были целехонькими, только глаза как у рисунков, сделанных нейросетью. Слово «казненные» в названии серии он объяснял тем, что применялась казнь «рассечением пополам»; так точно и быстро, что края половинок запекались, и кровь не текла, одни глаза стекленели, застывая навечно. Полиция задержала артиста, воспользовавшись свидетельским показанием дамы на кассе одной из станций частной железной дороги: худой седовласый человек с огнем в глазах шел, громко повторяя – alles ist vorbei, vorbei, alles vorbei ist. Доставленный к супруге, он проводил эксперименты по оживлению портретов и манекенов, закрашивая картины в обратной секвенции: как поезд, наезжающий на человека.

Перед выходом в холле я сначала прислушался, а затем бросил взгляд на телевизор. Транслировалась немецкая дискуссия на высшем культурном уровне. Писательница Юлия Цее в длинных лакированных сапогах, еще несколько хорошо одетых и ухоженных людей рассуждали о беженцах и о канцлере Ангеле Меркель. Я представлял себя по очереди то Ангелой Меркель, то беженцем, ничего, кроме ненависти к дискуссионкам, не испытывая – мне хотелось завалить их всех одной автоматной очередью.

Место ночлега носило гордое имя «У Оленя». На вершине пологого со стороны въезда холма, посередине огороженной белой балюстрадой овальной площадки в свете фар виднелась круглая клумба метров пять в диаметре. Серебряная скульптура козлоногой бестии в центре клумбы не походила на оленя, но кого-то из сказочных персонажей точно напоминала. Рога на лбу также были в наличии. Трехэтажная вилла с двумя башенками под черепичной крышей располагалась ближе к обрыву со стороны леса. Вилла была старой, до войны ее наверняка называли «Цум Хирш».

Лили здесь больше не живет

дни сменяют дни луна теряет свой облик
Гораций (II, 18)

Алиса выходит на двор, там этот январь.

Алиса идет по двору, она ледяная красавица.

Она идет, минуя замерзшие лужи, эти начесанные в снегу бляшки. Ее умение идти меж воронок от фугасных мин и снарядов – как данных, так и будущих, не прячась в уже наличествующие, не по заповеди, что дважды в одну не попадает, а: как по канату, находя его – вытянутой стопой, – натянутый среди пропастей на невидимых опорах.

Она была одной из нас. Самой точной, самой последовательной, оттого, думаю, она переживет всех. Я потерял ее в тот год; тогда многие теряли многих. Петя погиб, Семочка сдох. В общем, Семочку я не ненавидел, я только не понимал, как она может терпеть его сальное рыло, хотя, конечно, в крапленых индийских глазах пробегали по временам такие искры! К типу прилежных девиц не принадлежала. Зубрилки, отглаженные воротнички – мастер прозвал их рейсшинами. Они прибивались ненадолго и вскоре уходили. Ровную линию без линейки мог провести всякий, и я уточнил у мастера, однажды, – за что? – За негибимость шеи. Не открутишь болт – голова не повернется.

Алису он величал Транспортиром: за то, что умела нарисовать на глаз любой угол, и в семнадцать, и в тридцать семь градусов. Два луча – и на каждом отложить сколько надо сантиметров. Спросил мастера, чего бы ему не окрестить ее Астролябией? Спросил – и испугался. В глазах у него тоже забегали искорки. Был ниже меня ростом, но жилист, мосласт:

– Ляби, хляби, хлебай!

Но как ученица – верна.

Бывали дни, когда мы долго и безрезультатно изучали какой-либо бытовой вопрос. Как, э-э, предположим, добраться на перекладных от Романова до Ростова, разделенных Борисоглебским уездом, или как постирать в бензине светлые Таточкины перчатки, если, собственно, бензина как такового нет? Те дни Алиса называла днями изучения вопросов. Мировое, от слова «міръ», спокойствие, ледяное, да – это потому, что она брала вопрос в целом, говоря: карта есть всего лишь внешнее покрытие, верхний слой краски, под ним лежат другие слои, подмалевок, грунт, холст, а на местности, представляющей собой наложение всех слоев, – там, стоит нам очутиться в городе Романове над рекой Волгой, символизирующей сочетание всех времен, неизбежно найдется какое-нибудь решение, какое-то транспортное средство, сначала одно, затем другое. Бензин можно получить из живичного скипидара, какового у нас в избытке, кустарной перегонкой.

– Смотри, я соединяю две точки на метафизической карте. Например, точку моего пребывания с точкой исполнения моего желания. Либо я знаю, что должно получиться, и иду к этому, вычерчиваю нацеленный отрезок, либо у меня есть центр, и я начинаю его раскручивать, а видеть цель не обязательно, я и так нащупаю ее своей антенной.

Мировое от слова «миръ». Вот Еня прогнала меня от себя, а после призвала назад; я пришел, сидел за ее столом в комнате и ел гречневую кашу с сушеными грибами, как это я научил ее готовить. Кашу она недосолила (не любила, значит!), и я досаливал ее своими слезами прямо в чугунке. Нестыдно вспоминать, что плакал, никогда не стыдно, нехорошо лишь, что слезы – бессилия. Умер Борик, а Транспортир писала свое безбрежное полотно, страшных «Мандьянов», Таня видела, слезы капали на палитру, а рука вела и вела кисть, набивая запредельный орнамент: нагое мясо в роскошном рубище, увязанных веревкой опорках. *Labora et labora* – труд стоял в ее планетах, как вода в новгородских колодцах. В крови нежаркой, прусской, свейской, твердой и темной, однако сладимой. Злоупотребил цитатой, опасной, так ведь долго никто не прочтет. А к тому времени, как прочтут, цитата сотрется или растворится в языке и перестанет быть цитатой.

Алиса выбегает на двор, цитата из моей зрительной памяти. Ее словно на лыжах выносит из парадного: равно цитата, но лучше не скажешь. Удивительный рисовальщик Орлов (также убит) восхищался – Лесная Дева. Она прыгала, скакала на лошади, стреляла из ружья, а он, с лицом северного индейца, был подобен жерди и задумчив в движениях. Отчего не ушел он из Восточной Сибири, после двух небольших лишений? Прекрасно же

знал край. Поверил в аккуратность карающего меча? Или в высший суд какой, в формулу равновесия, где место найдется его боли и его смыслу, и, значит, в конце концов уберегут его, спрячут для финального штриха, мазка, удара мастихином? Орлов учился в Европах, но там не задалось. Вернулся, пошло очень неплохо. Он рвался в Индию, предпринимал шаги определенного рода, повторял, что у местных (европейцев) не нашел дара великого духа, что все магические откровения, все ощущения божественных сил они загнали в точность поездов и удобство расписаний. Когда-то сиживал в Cabaret Voltaire, двигал шашки против Ленина и Тцары (тут-то, пожалуй, загнул), но таблицы Schweizerische Bundesbahnen считал швейцарской ведантой, SBB-упанишадой.

Мне с ним приятно было дискутировать, он и после мензурки спирта оставался корректен, не делаясь ни вязким, ни схематичным. Выпив, меньше острил, предпочтение отдавал мифологическим трактовкам. Споря со мной, восклицал – что за миф вещает нам Европа? Войны? Порядка? Небесный или подземный?

– А Россия?

– Чем хуже порядок, тем громче миф, звенит цепями и кандалами, – присоединялся к нам мастер. Говорил о сдерживании и одолении, наследники Рима, дескать, в безмерной жажде властвования заковали кого в сталь, кого в железо, реку в гранит, а луг и поле – в камень межей, в булыжники площади. И нам, наследникам Византии, выпало освободить каждый атом каждой молекулы, перебрать всяческую кладку, распрямить и заново свести к точке любую перспективу.

Орлов, ценимый самим Водкиным, позволял себе мастера поддеть:

– Le mo-o-nde va changer de base... не так ли? Разро-о-ем мир насилия мы-ы? Ну а затем что?

Мастер сдавался. Он охотнее вел дневник, чем сочинял проповеди. Тут появлялась Алиса, и все замолкали. Листы «Велесовой книги» лежали на столах; Алиса ссыпала на пол снежные искры; мужчины, толкаясь, набрасывали тулупы, наматывали башлыки – так осуществлялось ее властвование, которого она не жаждала. Мы выходили на прогулку вокруг идеально круглого озера: тондо – картина, вписанная в круг. Осот и осока, росшие по периметру, обозначали границу невидимой воды, формат изображения. Шли гуськом, цепочками следов оттеня травяную раму, а озеро лежало внутри – новое слово в языке авангарда. Черный квадрат Малевича, зеленая полоса Ольги, белое тондо Транспортира. Орлов, безнадежно влюбленный, обремененный обязательствами, нес, как жираф, свою рубленую голову без головного убора, вытаптывал странные узоры, используя шаговую морзянку – вдоль, вдоль, поперек... Не ведаю, кому он отправлял послания, обычно мы делали только один круг, так что Алиса, будь она его адресатом, не смогла бы прочесть депешу, а за ночь каракули распушались в нечитаемое. Возможно, черный кот, общий любимец, хозяином признававший одного Орлова, служил ретранслятором. Возвращаясь с охоты на полевки, он укладывался на единственном в мастерской диване, кожаном, еще довоенном, и начинал передачу хвостом: взмах, взмах, взмах – два коротких, один долгий.

Мандат неба, семь обид и межпланетные браки: разные пути ведут карму к выходу из тупика, как чжурчжэней – к Вечным могилам. Трудно, но была бы цель! Почему же он все-таки не ушел из Восточной Сибири?

Энергия сдерживания – это энергия плотины.

– Человек сказал Днепру: – Я стеной тебя запру. Ты с вершины будешь прыгать, ты машины будешь двигать! – задумчиво произносит Алиса, листая журнал «Еж», памятный первый выпуск первого года декады с мальчиком-фрезеровщиком на обложке и строфами приснопамятного немца внутри. – Энергия России – это энергия цунами. Нет смысла противиться системе, система сама надстроена над природой, надо искать ходы в природе вещей.

(Вижу, что выше написал «межпланетные» вместо «межплеменные», исправлять не стану.)

Она находит своих. Не таких, каких мы искали до сих пор, не то так вот придешь к хорошим людям, они накормят, напоят, спать уложат, а наутро научат Родину любить. Ее посещают те и эти. Кто-то спрашивает, чего бы ей, стрелку и наезднице, не вступить в Осоавиахим, могло бы и поспособствовать. – Это не соответствует плану моей души, – отвечает она. А Наденька, ее зависть очень некрасивой, но умной и одаренной женщины, ноторическая – к Алисе! Увязшая в своем *enthymémisme* головного мозга, катастрофах, травмах, вине и ответственности, Надя неспособна к чистому восхищению, ее восприятие, увы, партийно. Для нее вышедшие в «Возрождении» ***** *** посильнее «Фауста» Гете. И Марио; она читала «Марио и чародей» Томаса Манна; она наговаривает Алисе про духоту. На вечернем сеансе в Sala (сарай-синема) кельнер-итальянец по имени Марио – на глазах семейства, каковое он обслуживает в садовом кафе «Изысканное», на глазах отца сего семейства и, собственно, повествователя, – убивает выстрелом из пистолета заезжего факира, гипнотизера, заставившего Марио уверовать в то, что именно он, горбун по имени Чиполла, и есть Сильвестра, *Liebeskummer*, то есть «сердечная заноза» Марио, принудив последнего чмокнуть его в щечку.

– Ах, не люблю этого высокомерного урнинга! – говорит Алиса.

– Он не высокомерный, – неожиданно возражает моя Еня, – он высоколобий.

– Там душно, – Надежда настаивает. – Духота надвигающейся катастрофы.

– Духота сирокко, – поправляет Еня. Мы все прочли новеллу о бедолаге Марио в семейном ежемесячнике «Вельхаген-и-Класинг» под роскошным ручным красно-золотым переплетом. Ну, а кто – все? Я, она. Ради полиграфической красоты, думается мне, – пусть и с духом, за который мастер отрубил бы издателю руки, со вкусом.

– Прежде всего, он не урнинг, – продолжает Надежда, хотя какая ей, казалось бы, разница? – Прежде всего ценитель красоты...

– *Mais si!* Как всякий потомственный любекский зерноторговец.

– У вас обоих, похоже, имеются тайные страсти по Любеку?

– Не без того! – смеется Алиса.

– ...а затем. Блестяще описал нехватку воздуха на морском курорте: он, немец, сын великой нации, потрепанной Версалем, задыхается среди итальянцев, упоенных собой и своим фальшивым блеском, новых варваров, этих *zierlich festen*, детей Дуче.

– Даже на море, – вступает бравая Татьяна, – даже там случается, что душно даже вдвоем. А катастрофа уже надвинулась, невелик труд – быть пророком.

– Марио... – И все мы понимаем, кого имеет в виду разгорячившаяся Надя. – В той духоте его заколдовали. Утратил – себя, лицо свое – с его пушкинскими губами... Нет, как звучит: «вульстлиппен»!! И, единожды утратив, более...

– Почему у Марио пистолет, – вдруг вопрошает Алиса, – откуда он? – Оказывается, и она читала, и у нее свое, особое мнение: – А почему он стрелял дважды? Два выстрела – суть символ, два выстрела – не защита, не месть, это кара – казнь.

.....

Потому что сам призвал Чиполлу! И был готов – к другому. Но Чиполла для начала ошибся, и Марио выстрелил не туда. Фактически Марио проверял Чиполлу на годность, на выносливость.

«Какого же Чиполлу ожидал Марио?» – я гадаю усиленно. Алиса объясняет, шепча, нет, бормоча самой себе, так, что мы слышим: «Он ждал повелителя, а дождался мерзкого фигляра...»

Проснувшись, с чего она начала свое утро? Легко вообразить, с чего не начинала. *Togliere il superfluo*: останется воображаемая суть ее пробуждений. Открыв глаза, она тотчас их захлопывает и лежит неподвижно, в той позе, в какой проснулась, настолько лишь повернувшись, чтобы расположить ладони на бедрах. Этими ладонями она затевает внутреннее путешествие вдоль себя, от бедер вниз – к коленкам, икрам и щиколоткам, от бедер вверх – к лону, пупку, груди, шее, затылку. Дотрагиваясь подушечками ментальных

пальцев, она зажигает один за другим квадратные сантиметры кожи, на теле вспыхивают солнечные точки и тянутся лучами к бессолнечному дню, едва тлеющему за отведенными матерью шторами. К свету свет; день расцветает ей навстречу, она нежится в световом скафандре, прослойке между ней и бельем постели, набирающим крахмальной свежести при каждом касании.

Сегодня – получить глаженое у китайца. Подвал на Мельничной, сюда ему ходу нет. И к набережной, в клуб химиков. Мягкое раздвоение. Алиса хорошо умеет разделять себя, даже ночью. Пока правая половина тела без сердца страстно любима, левая спокойно поживает, готовясь к завтрашнему трудовому дню в мастерской. Она записывает отчет в дневник – канцеляризмами; огонь, пылающий в районе половых губ, односторонен, он не переходит на внутреннюю поверхность другого бедра, бабочки не перелетают через пупок. Алиса выходит на двор.

С Песчаной улицы выскальзывает на Валовую. Петрополь, секретный град, лучится изнутри обманным спиртовым сиянием; свет к свету. Она пересекает Башенную, минует Бастионную и так по Суворова аж до Мельничной. Сборка городской натуры вокруг нее неслучайна, громада арок, стен, крыш пришла оттуда, откуда пришла, и привела туда, куда привела. А можно локальным образом вывернуть ее, разнять сваи, кирпич, арматуру. Перестроить наоборот, перекроить тупики и подвалы, карманы перешить – и втиснуться в них, пройти по ходам сообщения, как гусар, чуть постарше меня, из оперного театра шел послушать – к разбитым полям, – как строг пулемет. Наш или германский?

– Путь к отступлению?

– Никаких отступлений! – говорит чей-то голос. – Дорога неуязвимости.

Я никого не вижу, но не удивляюсь.

Отец ее, доктор, вынимал занозу из пальца сосновой иглой. Мастер шел от границ, она идет от точки. Пункт касания, точка входа, палец, прижатый к телу, как бы намечает кратер вулкана. Шлифованный миндальный ноготок обводит будто рейсфедером область хаоса – местную вывернутость того, бывшего плана, изнанку, выскочившую сквозь прореху наружу. Ее в принципе несложно упихать обратно, прореху прострочить, заштопать. Алиса, в отличие от мастера, понимает: она не маэстро резца, она – богиня иглы.

Я не удивлюсь – именно что удивлюсь, если кто-либо опишет мне полный объем всех ее пониманий. Нелепость чудес, которые совершал Иисус – два хлеба, пять рыбешек. Или наоборот, нынче без разницы. У мастера нынче – две дюжины человек, им кажется, они делают что-то большое, нужное, он говорит им «глубокое», он их Иисус, чем нелепее его чудеса, тем более в них веры, потому что чудо не должно иметь смысла, это не корень какой-нибудь из чего-нибудь извлеки – чудо есть Бог! Чудо есть чудо, если не веришь в чудеса, так ведь? Так сказано?

Алиса молчит.

Позже возле нее вились Перикюль и Ридикюль; Рискованный и Раскованный, – так шутил Леонид, – я буду упоминать их как П. и Р. Да, Р. и R, так лучше. R. стал тенью для зла, как советовал Карабас, а Р. просто не обращал на зло никакого внимания, но никто не был – так теперь говорят? – эскейпистом. Кто хотел – успел.

R. (в моем присутствии) спросил про Р.:

– Он презрителен ко мне?

– Он прохладен к тому, что не его.

R. (в моем, скаламбурю, отсутствии) якобы спросил про R.:

– Какой у него диагноз?

– Он не ходит к врачу, – якобы ответила Алиса, – поэтому живет без диагноза.

Их обоих нет больше, никого больше нет.

Один на один – одна на одно? – с пространством.

Пространство благоволит ей, не отнимая у нее астральную оболочку тех, чьи души забрало время. Хранительница брэнного, в яростных разрывах цветных плашек прячущая

ледяные ключики от своих дверей. Во тьме ночи – что я говорю! – в белизне ночей она отпирает одну из дверей и слушает. Они уже не обращаются к ней, они, наверное, ни к кому не обращаются, ничего не говорят и никого не слушают, но она – слышит:

– «Срез» жизненного пути – холст моей жизни. Жалкие фрагменты уже раскиданы по нему. Я могу сказать – одна сплошная неудача. А могу иначе – это написанная часть какой-то картины, завершенной в будущем. Нужно только досочинить ее так, чтобы она содержала все уже имеющиеся куски как действительные части.

Алиса тасует фрагменты как карты. Вот он, ее ломберный столик, загрунтован, натянут на подрамник. Масти, достоинства. Борисик, мама, Орлов, Таточка, Чокнутый. И мастер, мастер, мастер. Я тоже где-то там, джокер, всё и ничто разом. Я сложил к ее ногам свой меч. Я по-мужски одолел Чокнутого. Я хотел нести солнце, а он пластался во тьме. «Стань тенью, – повторял как заклинание, – и кровавый глаз Сына Неба напрасно пронзит твою тень». – «Тенью для зла, – напомнил я. – Оно так или иначе пронзит».

Карты пришпилены, пригвождены к сукну. О Чокнутом, с сестринской нежностью: «Он не ходит к врачу, поэтому живет без диагноза». Об эпатирующих Татлине, Малевиче, о Богомазове в особенности, с лаской: «Хохлы круговые, запенясь, шипят». Она не мастер удара, она маэстро укола.

Я доказал ей, что управляю калейдоскопами, правлю бал букв и буковок. Иногда у меня у самого рябит в глазах от моих букв. Я вижу шахматные поля, покрытые урнами, на белых клетках стоят белые урны, на черных – черные. Когда я ступаю ногой на доску, из урн вылетают птицы, из белых урн голубки, из черных – вороны. Опять же иногда урны или клетки меняются местами, а из урн вылетают одни лишь галки. Тогда и копать, и снег мешаются под моими ногами, приходя домой, я стряхиваю в парадной пепел.

Петр Великолепный. Петр великолепной.

Они принаряжались, перенаряжались и снимались «на чистую красоту», Таточка и Алиса. Фото на чистую красоту – в чем восхитительный восторг этой фразы? Вкруг нас сплошные «фи», философы да филологи, но из них ни один не объяснит мне, отчего такие слова будят во мне свист метели, бег рысака в синей попоне, рык угнанного авто. Лихость эта, бесшабашность, эта уверенность в себе – оттого, что можно погадать или заклясть на чистую красоту? Друзья мои! Вот Леонид, он исследует ужасы, вот Роман, комбинирует метонимии, вот Чокнутый, он чинит носки – Алиса просто прекрасна. Ее восхитительный эгоизм – эгоизм ли? Он что лотос, растущий изнутри, разрывающий узор повседневности и засыпающий поверх своими лепестками. Или медуза, всплывает со дна и будто линза укрупняет и легко подсвечивает то, на что ложится.

Любит мышек... Маленьких миленьких мышек любит она. Рисует.

Сегодня Алиса делает доклад. Еще до ***** руки Р. (Петины) с чуткими пальцами успели сотворить здесь макет Кремля в карминных стенах и даже позолотить купола над алебастровыми шеями. В помещении я как-то раз читал Багрицкого, свежееупокоенного – не будь он евреем, сказал бы «новопреставленного», – дюжине библиотекарей химических предприятий и чувствовал их содержание. Текла река, мы знали, что за наружной стеной с большими мельниковскими окнами течет река, она немного текла и через нас, по крайней мере электро ее трения о русло лежало на наших руках и лицах под желтым стеклярусным абажуром.

Завороженная этим электро, она прячется в своем сне, и сон превращается в тему доклада. Во сне она скитается в лесах братьев Grimm, среди сосен, на заросшем ежевикой пригорке видит дом Бродского, придворного портретиста, сгоревший с одного края. В уцелевшей его части однако уютно, есть даже удобства. Пока Алиса взвешивает, сколько же понадобится средств на обустройство подобного уюта, Бродский высовывается в окно с венским переплетом и кричит забредшим на его участок мальчишкам: «Дров нет! Дров нет!»

Кстати, почему во снах мы не видим киногероев? Ни Дуглас Фэрбенкс, ни Мэри Пикфорд мне не снятся. И не мне одному. Нам снятся либо наши близкие, наши знакомые, либо совсем незнакомые люди. Может, незнакомцы также где-нибудь существуют? Они слишком реальны даже во сне. Однажды я боролся с неким злодеем, он вспотел, и у меня на пальцах оставались жирные катышки с его кожи, я даже побежал под рукомойник, едва проснувшись. Стало быть, нам снятся только реальные люди, а люди с экранного полотна не снятся. Значит, ночной мир сна более материален, чем мир дневного воображения. Так что ли?

Тем временем Алиса покидает свой сон и продолжает доклад.

– Смотрите! Мастер видит мир плотным, нерушимым, единым. Перелопатить весь мир значит для него то же, что разгладить складку на брюках или стряхнуть пыль с сапог. Берем мысленную лупу и вглядываемся в дерюгу на локте батрака: видите плашку серого блеска? Так блестят штыки. А здесь мазки; желтый, оранжевый, беж. Лучина расщепилась и топорщит пальцы, вот-вот сцепятся в кулак. Наставь штык, сожми кулак, бей! Бой – танец, любимая диалектика. Формула танца, мы вечно в бою, вечно танцуем, не разнимая рук.

– А радость? Как же радость? Обычная, зачем ее отменили? Разве желтый не может быть просто желтым, а оранжевый – оранжевым? Солнце, янтарь, песок...

Наверное, я смешиваю воспоминания, я не всегда датировал и сортировал записи, и годы несколько путаются. Впрочем, большие реки времени сами по себе спутывают наши карты, вымывая сильные ощущения на берег сознания. Я помню, как Бродский скупал работы мастера, и знаю, что мастер не продал ни ему, ни другому кому ни одной картины.

– Радость?

– Черпать красоту не из пространства, но из времени, – ответила в тот раз Алиса, – означает следующее...

...Воспринимать все, сказанное ближними, как поток слов из черного репродуктора. Ты зажата между двух тисочных струбцин. Шагнешь навстречу изрекаемому рупором, начнешь понимать, обдумывать, не дай бог возмутишься – и неведомый слесарь, страж тисков, сделает пол-оборота рукояткой, струбцины сблизятся еще на микрон. Стой! Не слушай, стань ледышкой, заморозь речь, себя, струбцины, подерни их инеем, преврати в ледяное стекло – они, треснут, расколуются сами собой.

Здравый ум Алисы, ее умение радоваться. Р. (Петин Чокнутый) радовал ее.

– Умение отражать отдельные фрагменты полотна и локально менять структуру, – снова голос. Предположительно я сам в своей голове из «после» в сейчас, нет, из сейчас в «до», выдавший виды. Ее поиск неплотностей в кладке времен вдохновлял. Она уцелела – исцелилась?

После доклада начинаются прения. Они об искусстве, но и не об искусстве. Заботит вопрос, почему одни творцы там, а другие здесь; вряд ли я сформулирую прозрачнее. Я не спрашиваю ни себя, ни близких, и не отвечаю – правда, меня не спрашивают. Выяснилось, вполне можно говорить.

– ...Испытывают уменьшение спектра возможностей: капитализм рано или поздно ограничивает массовые возможности.

– Только в более широком ассортименте... – осторожное возражение, и не понять, к чему относится.

– Войны, переселения, миграции – это – как и чума, вероятно, – имеет смысл. Если с высоты мироздания... Чума освободила рабочие места, разрушила кастовую систему, спасла ее от загниения, – литовка (?) Дридзе спасительна; мало с ней знаком, прелестна. – Эмиграция несет миру русскую мысль – почти как плесневый сыр: ты его немножечко заплеснеешь, и получается чудесный рокфор. А мы вот тоже как-то уже перемешались, бывшая княжна спит с рабочим-станкостроителем, и дети у них создадут благородные станки, жужжащие на голубом керосине.

С Уступной набережной через Тыловый проспект к Воробьеву шоссе. Дальше наши пути рас... хо... ты кто знает? Время Алисы: желание быть с силой. По стороне силы. На нужном берегу. Банальность, попробую по-другому. Чувство лояльности по отношению к ***** заменяет сексуальное.

.....

.....

.....

Допустим, торнадо. Некто является торнадо. Его обманчивый гиперболоид – с ним мы не проникаем в сущность торнадо, но можем на миг впасть в транс и почувствовать, что значит быть торнадо. Мир, выстроенный чужой рукой, становится частью твоего мира. Жаркой, теплой, болезненной и самой свежей его частью. Почти как любовь, почти как вы, Алиса Иоанновна.

– Я – свежатинка? Теплая с кровью?

Вечерами не так заметны естественные нарушения целостности городской среды, в светлый час навязчиво сулящие неприглядную старость всему на свете. Ворвавшись сюда, торнадо закисает и створаживается, выпадает в осадок – пухом, снегом. Непредвиденная смена формации как внезапный катализатор дряхления: ее страх. Алиса застывает в своей ледяной молодости, где каждый может донести на каждого, отправить в лапы паука, там только смерть, необратима, как выбитый зуб. Плохая аналогия, но других нет; жемчужная улыбка, бриллиантовый оскал и – вдруг! Всяк готов продать, заложить, как Раскольников закладывал щепку, жизнь – абсолютная лотерея, рулетка.

На что ставит Алиса? На совершенство.

Алиса входит во двор, привычно оглядывается по сторонам, это ее владения, она царит повсюду, а пажи и прочая мелочь шкерится по углам и подворотням. Маскароны и кариатиды с меланхоличной усмешкой, им-то многое известно, столь многое, что и они не скажут, не зная, как из многого выделить малое, чтобы поведать кому-то. Алиса, бывает, пощекочет лучиком гипс – нет-нет да и получает отклик: от них ли, из тех ли миров, что таятся за стереговыми ими дверьми. «Буратино, пока он не нашел дверь в камере Папы Карло, откупоривал золотым ключиком бутылки», – слова Р., встреченного ею прямо на лестнице, на площадке между цокольным и первым этажом.

Эне-бэнэ-раба-квинтер-финтер. Жаба.

Р. Р. Р.

Р. Р.

Р.

Первые слова Р., встреченному ею в коридоре.

«Поцелуй меня в мой лотос», – говорит она, и лотос выбрасывает белые лепестки ему навстречу, раскрываясь, но с одной стороны лепестки словно заморожены или просто оборваны. Она укалывает его ресницей, каблучком, карандашом, рейсфедером. Посреди бытового распада всё совершеннейшие вещи: кедровая мутовка ресниц, каблук сшитой на заказ туфли, карандаш Иоганн Фабер, готовальня Эмиль Рихтер со товарищи или Кохинор (в этом «или» – ее авторский взгляд на себя саму, ее внешняя фотокамера).

Р.

Р. Р.

И я, и Тата, и Еня моя, и страшенькая Надежда, мы, брезжащие по краям торнадо, перебрасываемся обрывками снов, как бы латая прореху, оставленную чужим, но близким небытием в нашем разжижающемся, меркнушем, но все еще теплящемся бытии.

– Вообще, ты поднял важную тему смирения – я сам смиряюсь с тем, что в этой жизни надо остаться в моих серых холодных странах, и тогда, может, в следующей вновь родиться в краю персиков – а почему? И надо ли? Легко сказать *satis beatus unicus Sabinis*, тяжело сделать. А усадьба моя крохотна, и винограду дает мало, даже бутылки вина не нацедить. Но что меня поразило в этих словах – и в который раз я подумал о том, что все

уже сказано, причем точнее и лучше, – так это про луну. Я думал – просто привесок, метафора бега времени, но, когда перед сном вышел на двор (я перед сном люблю оросить свою яблоню), понял, что каждый вечер, встав под яблоню, смотрю на луну и фиксирую ее форму, как бабушка в детстве учила – приставляя палец к рогам: «Р» или «У», – и делаю из этого какие-то малоценные выводы.

– Утром я надела синюю кофточку, юбку, кажется, белую в горох, шляпку, и пошла по указанному адресу. Даже нитяные перчатки, кажется. Шляпка делала меня незнакомым мне человеком, из прошлой, безвозвратно потерянной жизни. Там, где улица, застроенная доходными домами, обрывалась, начинался длинный кованый забор, за ним среди кустов несколько вилл, в одну я и шла. Калитка открылась сама собой, дверь тоже, я вошла на этаж, несколько комнат были соединены вместе, в мягком кресле за деревянным простым бюро сидел молодой человек, напомнивший мне Арамиса из *Les trois mousquetaires*. С ним рядом – женщина пронзительной красоты, видимо, цыганка. Она прекрасно говорила на французском и с неуловимым пряным акцентом – по-русски. Она встала из-за стола и, подойдя ближе, положила руку мне на плечо. Другой рукой с невероятными пальцами она огладила мое лицо, затем спокойно расстегнула пуговицы блузки, оттянула лифчик и на ладони взвесила мои истощенные груди. Потом вернулась к столу, поцеловала юношу в лоб и села на место. Тот оторвался от каких-то своих бумаг и сказал ласково: «Прошу вас извинить мою Жанин, она измеряла ваше психологическое состояние. Вы почти потеряли эмоции, но если вас подкормить (так и сказал, подкормить!) и дать отдохнуть пару недель, вы вернете себе человеческий облик. Зуб мы вставим», – указательным пальцем он обвел свой рот. Забыла сказать – все это время я держала застылую улыбку, как идиотка.

– Когда он зашел в мою дверь в бараке, я не знала, куда девать мои руки. Немытые, с обкусанными ногтями, не понимаю, с чего я взяла, что они ему важны. По его взгляду я ощутила, что вот-вот должно произойти нечто, к чему я не знаю, как отнестись, и решила, что должна ему, и он был так хорош, а я так стосковалась по теплу, но все же не хотела обыденности, а он дотронулся до меня и сказал только *le type de thérapie*, на французском не так отталкивающе, и я забылась на миг, а потом стало поздно, я забыла себя, страшно сказать, вошла в аппетит и даже орала, да, орала от наслаждения...

– И я вот думаю – если я плачу, вспоминая про долго буду я любезен, что чувства добрые я лирой, или про я лежу в земле, губами шевеля, но то, что я скажу, запомнит каждый, – это оттого, что этими губами говорило неведомое, далекое, то, что чудится мне блистающей осью с серебряным острием, которое в запредельных мирах пройдет через нас, как холодный мерцающий луч, и снижет, и скрепит, и соединит навеки.

А после похорон и скорых поминок прямо у кладбищенской ограды на обратном пути прорвалась русская народная.

*откосили по лугам косари
белым стягом ты меня одари
черной радугой меня озари
ничего не говори*

*только память твоих слез на заре
только замётъ твоих кос в серебре
только конь чей хвост развит по горе
бьет копытом во дворе*

*а рука была как лед холодна
а вина была как рот без вина
и сто лет стоит и ждет тишина
как звенели стремяна...*

Все растает

Мы все вместе едем куда-то. Очень сильный снег. Есть две цели: одна та, куда мы вроде приехали, и другая – город Достоевский (хрен его знает, где это). Холодно, темно, приплыли; на последнем подъеме четыреста двенадцатый забуксовал. Решили плюнуть на него. Все вышли из машины. Гном куда-то убежала, ты зашел в дом, который был чьим-то музеем. Тарас стоял и курил, а мы с мамкой вошли в большой русский дом, там было две двери, парадная и боковая, мы прошли в боковую. В большом холле стоит куча валенок, нам говорят, переодевайтесь все в валенки, в них можно будет и гулять, и по дому ходить, располагайтесь, скоро ужин...

Мы переобуваемся, я беру две пары и мама одну – и в валенках выходим на улицу.

Одну пару даю Тарасу, другую Гному, а ты в этот момент выходишь из того музея, куртка в руке, синий свитер и шапочка, мама говорит, надень куртку, простудишься, и дает тебе валенки.

Короче, все в валенках входят в дом.

И я понимаю, что у меня в руке еще одна пара валенок, вы спрашиваете – кому? Я говорю – папе. И начинаю ходить по дому и звать его. Папа, папа, ты где, я валенки принесла! А дом с высоким потолком, а наверху огромные балки и потом сразу крыша, это как бы все видно, потолка как такового нет, балки и крыша сверху.

И тут поверх этих балок голос – я тут, вы что, меня ищите?

Я такая – о, нашла, сейчас принесу тебе валенки. И у стены деревянная лестница, чтобы залезать на балки. Я залезла, вы все внизу сидите за столом и смотрите вверх.

Я залезаю на балку, отдаю валенки, он их вроде надевает и говорит: давай качаться на качелях! И балка, на которой мы сидим, становится сиденьем качелей, но при этом нет ни веревок, ни палок, как у обычных качелей, балка сама по себе немного прогнулась и стала качелями, капец, короче, какой-то...

И мы с ним качаемся и каждый раз пролетаем очень низко над накрытым столом, практически чуть не задевая еду этой балкой, поэтому мне приходится все время держать ноги прямыми, чтобы не задеть стол.

Дальше два кадра.

Пролетая над столом, я вижу огромную синюю вазу. Она состоит из трех ракушек-блюд. Синее стекло, ребристое. Первое блюдо плоское, сантиметров семьдесят в радиусе, на блюде, немного не по центру, стоит салатница размером раза в два меньше, и внутри салатницы еще одна, поменьше, а все это вместе имеет вид морской раковины. Так вот, раз пять пролетая над столом, я каждый раз говорю вам: «Бля, если бы кто показал мне эту чудовищную штуку раньше, я разбила бы ее об стену, но сейчас, сверху, мне так она нравится, что я хочу такую домой!» И еще – на стене висит огромная тарелка, синяя, как ваза, только плоская и с волнистыми краями, метр на метр примерно.

В очередной раз летя сверху вниз, я замечаю, что в дальнем правом углу комнаты в кресле сидит Юрка, перед ним на одной длинной ножке стоит столик (помнишь, у нас в детстве был торшер, и под ним – на его же ножке – столик? Такой неровный овал, с одной стороны шире, чем с другой). А тут только ножка и на ней столик, на нем подсвечник с горящей свечой – почти на самом краю. И за секунду до того, как подсвечник соберется упасть, я кричу: «Юрка! Свеча!» – и он успевает ее подвинуть!

Вы все продолжаете молча сидеть и есть.

Вдруг Тарас говорит – хорош качаться, иди есть, все холодное уже, и ты свалишь что-нибудь на пол...

Я говорю папе, ладно, давай слезай, нас зовут к столу.

Мы спускаемся, я всех вижу, а его нет, но он есть.

Стоят две рюмки. Я – не, не хочу, а то потом вдруг Тараса за рулем подменить, но тут вторую рюмку берет рука, и голос: а я выпью, мне же за руль не садиться...

В этот момент у меня в голове начинается дикий шум! Дрель, пила, арматурина скрипит, и еще колокольчики звенят, все это дает ужасно высокий и звонкий звук, я вроде уже проснулась и собираюсь встать, но при этом думаю – соседи вконец охренели, как можно посреди ночи все это делать?! Надо выяснить, кто это! Почему их никто в доме не остановит? Пытаюсь проснуться и просыпаюсь.

Занавес.

В самолете разносили суп, стюардесса не заострила внимания пассажиров на том, что до конца трапезы надо сидеть, выпрямив спину. Пассажир спереди об этом забыл. Он, доев свой суп или же с миской в руках, откинулся назад, и горячий жирный бульон вылился отцу – который определенно ел медленнее всех в салоне – прямо на живот. Место ожога долго не заживало, кожа начала шелушиться. Данное обстоятельство несколько отравляло безумно увлекательную в целом командировку.

Встречают Юрий Иванович, Женя, Андроник. Светло-серая двадцатьчетверка, вся лоснится, свежая. Служебная, личная? Самара-городок! За рулем Юра, рядом Андроник. Отцов чемоданчик Женя затаскивает на середину заднего сиденья, сам садится слева, отец справа, вперехлест с водителем. Хорошо помню его нефтяной запах, усиливающийся на жаре. Запах был особым и возникал, когда отец пребывал в состоянии полного покоя, к примеру, во время летнего дневного сна в прохладной бабушкиной комнате. Меня – до не помню какого класса – укладывали рядом, а я не засыпал бок о бок с этим превращенным сном в незнакомого мне марсианина человека. «Волга» трогается, слышу ауру успокоения и доверия, это друзья, он с любящими и надежными. Узкой дамбой в обход города летят, летят, лесостепь с обеих сторон и разные регионы родины, делятся краткими заметками о предстоящей операции, мост через приток великой реки шириной со среднюю Оку, справа поезд идет над водой, а мы быстрее, и вновь заборы и лесостепь – а Енисей когда будет? – будет, будет! – вот он и догнал нас, поезд-то – или это совсем другой состав, как зайчики поповского работника Балды? – под сто тридцать на спидометре, машину пошатывает, и уже хребты на горизонте, темная хвоя по сторонам. «Кем бы ты хотел работать, если бы не стал врачом?» – спросил я тогда, – «Наверно, автогонщиком», – ответил он. – «Как кто? Как Жан-Пьер Жабуйль?» – «Ну, наверное. Или как Ханну Миккола». – «Ралли?» – «Ралли!» Легковой автомобиль тем временем въезжает прямо в тайгу. Отец ни о чем не спрашивает, ралли так ралли.

Лесная дорога – две колеи, неглубокие. Видать, не так давно прошел грейдер. Он куда, интересно, ходил? Засыпано иглами, сучками, ветки по днищу поскребывают, тише едешь, дольше будешь, старая шутка, но не приедается. Все оживлены, будто сбросили оцепенение скорости. Юрий Иванович поглядывает на шикарные часы на запястье. Мы за чем-то торопимся? Не торопимся зачем? Пять минут, десять – два, от силы три километра. Свод леса вобрал в себя, как вбирает мушку антикварный абажур в старой квартире или рыбешку – коралловый риф в «Клубе кинопутешествий». Трепет благоговения нисходит в салон, в то же время столпы древесного храма кажутся бестрепетными. «Гемосорбция, – напряженно шутит Женя. – Очистка крови ультрафиолетом». Тихий тон шебуршения шин о подстилку взрезает милицейская сирена. Все явственно вздрагивают. Андроник зачем-то прикрывает голову руками. Юра резко по тормозам – тормоза хороши. Отец вспоминает о двух «кирпичах», увиденных на съезде и чуть дальше, на первом пересечении с трассой лесовозов, тяжелой унылой впадиной, чуть подскобленной грейдером к перекрестку. Никто не оглядывается. В зеркалах виден желто-синий уазик с маячком. Сирена смолкает. Двое, на ходу надевая фуражки – голубая рубашка, темный галстук, – многозначительно в окна: тук-тук. Вылезай-ка, зайка. Ну, вылезаем. Два шага назад, руки на кобуре. Стоять! Руки на машину? Нет, руки не на машину. Свободно руки, Женя в карман засунул. Представь себе Юр Иваныча, с его часами, с руками на машине. Обратни в погонах? По-настоящему

испугаться никто, похоже, не успевает. До прожилок, до костного мозга, далеких страхов детства. Слишком величава тайга... А страхов и без того много, держат баланс, балласт. Они – засыпка. Арматура. «Водитель, откройте багажник. Медленно». Медленно минуя Женю, медленно открывает багажник Юрий Иванович, отходит вбок, отец не понимает выражения лиц, странные лица у них, да, неприятно, но... – тут один из синих нагибается под крышку (погоны – капитан) и достает оттуда двустволку. Переламывает, проверяя патроны. Отец не понимает в оружии. Ружье так ружье, тайга ведь. «Пройдем». Народ оживает вновь, Андроник трогает отца за плечо. Валко бредут к узику, тот, что с ружьем, пропускает их, глядя в землю. Второй обгоняет, забывая о незащищенной спине. Да ему плевать: кряжист, дубоват – майор. Дела! О чем сейчас думает отец? Что, если обо мне? О сестре, скорее всего. Что он о ней думает? Так. Встали по-за узиком в полукруг. Неужто вязать будут? Майор откидывает заднюю дверцу. Подмигивает. Жест. Приглашает в свой ад, что ли?

...Сзади за сиденьями.

Там, на розовой полиэтиленовой пленке, лежит мертвый освеженный козел.

А уже отсмеявшись...

Обе машины скатываются к ручью, лесному. Друзья, это также друзья! Начальник райотдела и зам его. А это безусловно горный ручей, такой резвый. Пейзаж из уральских сказов, но и Ханну Миккола, гонщик, чувствовал бы себя в нем как дома. Хотя мы в двух с половиной тысячах от Свердловска и в тысячах пяти-шести от Хельсинки. Серебряное копытце вот-вот вскочит на замшелую крышу избышки над ручьем и натопаёт фонтан самоцветов. Над трубой курится дымок, из хатки выходит старик Кокованя, крепкий и не старый вовсе, держа в руках две выпотрошенных рыбины, брюшками к гостям. Кокованя идет к воде, на бережку из камней сложен очаг или жаровня, он кладет рыбу на решетку из тонкой арматуры, ополаскивает ладони в ручье, распрямляется и объявляет навстречу: «Пыжьян». – «Сиг, – уточняет Юрий Иванович. – Это сиг, Гриша». Пыжьян подает Жене руку, пожимает руку Юре, облапывает Андроника. Вблизи черты каждого лица малость подправлены азиатским скальпелем, но Андроника и Кокованю роднит нечто большее. Над мангалом теперь тоже дымок. Дом глядит на воду углом. С той стороны, что видна не сразу, под косым навесом накрывает стол Даренка лет тридцати. Новые друзья дотащили наконец козла до мангала и насаживают его на вертел, сваренный из тонких труб. Так все уютно и дружно, что сразу хочется дерябнуть. Я ощущаю зовущую как бы слюнку во рту отца, легкое приятное подсасывание – как подсказку, что скоро станет еще уютнее и еще дружнее. У Даренки малахитовый взгляд, но как бы слегка запавший, чуть горячечный, впалые скулы и слегка вздернутый нос; можно поговорить о губах, но к чему? Обветрены. Выцветший волос стелется туманом. «Помидоры, берите! – говорит она. – А, вы не знали? У нас тут котловина, и климат как в Италии. Но – летом. Декабристы сюда семена завезли и выращивать начали. Арбуз – соленый. Попробуете? А сладкое вот – виктория, томленая. Ай, и этого не знали? Земляничка... Аджичка у меня... Славная. Я, как рассаду на новую луну высаживаю, величальные прибаски сказываю. Хотите послушать? – И не дожидаясь согласия: – Но... Помидорчик, помидорчик, мой синьорчик-луидорчик... Ты прекрасней всех вокруг, я горжусь тобой, мой друг! Ах, ты мой огурчик, стройненький фигурчик – я тебя сажаю, вот как уважаю...»

На этих словах майор прихрюкивает. «А мож' и гитара есть? Вы, Григорий, какие предпочитаете?» Майор подстраивает поданную Пыжьяном гитару, подшлепывает деку, струны, дурашливо распевается: «...У меня-я, у меня-я три желе-езны-е коня!» – и вдруг меняет лицо. Будто тень по воде или рука по глазам прошла – и нету прежнего.

На пяти ветрах приутих мой страх.

Ой-да, ой-да, ой –

неспроста...

Выйду погулять, уток пострелять.
Ой-да, ой-да, ой –
красота...

Утки воду пьют, песен не поют.
Ой-да, ой-да, ой –
немота...

Слова не скажу, узел завяжу.
Ой-да, ой-да, ой –
да с моста...

Вилы по воде, порох в бороде.
Ой-да, ой-да, ой –
суета...

И – тр-р-рямс по струнам.

Сконфуженный наставшей тишиной, более емкой, чем бывает тишина вообще как таковая, майор крепко откашливается... «Солнышко, – пользуясь паузой, докладывает отец, – лесное».

– Э-а... А э-а кого?

– Это Визбора вроде, – подсказывает Даренка.

– Ну да... – отец, смиренно.

– Ты скажи мне, Гриша, Визбор – еврей?

– Визбор, Саша, литовец, – отвечает Юра. – Помнишь, Ландсберг у тебя фамилию менял? Ты тоже думал, он еврей, а кокнули – Ландсбергис.

– Так я ж ничё. Литовцев не уважаю, факт. Затеяливые все шибко. А евреи – они господа нашего войско. Служилые. Сегодняшним днем живут, о завтра не думают, вся ноша-то на чужие плечи сложена...

– Эк, Саша, тебя занесло!

– Я ж ничё. Я – уважаю. Как солдаты. Добровольцы... дан приказ – ему на за-апад, ей в другую сторону-у... – пьяно рыкает майор. – Освежусь схожу-к'. Ик... За тебя я хоть на плаху, я держусь, и ты держись... ты держи меня, родная, за... ик!.. впереди у нас вся жизнь...

Андроник и его неотчетливо угадываемый соплеменник ставят на отполированный неокоренный спил казан с дымящимся мясом, взятым грубыми, сочными ломтями. Беседа распадается на части, словно абжур на капли-хрустальки, словно каждый из восьмерых разговаривает с рекой, пихтами, дымком из баньки под бесконечно высоким небом где-то в глубине опрокинутого колодца.

– ...Визбор, приезжал к нам. Думала, сердцем пишет, а он умом, хитростью еще.

– Бор-р-рман, мать твою, солнышко ночное.

– Она – принцесса, платье, как годовые кольца у дерева, солнечные глаза, остров. В Эстонии это проще пареной репы, у них тысячи таких островов, я знаю, что нужно делать, но я-то не буду...

– Пел, ждите, говорит, я знала, что не вернется...

Женя неспешно встает и – выразительно при этом показывая: дескать, вспомнил! – совершает поход к багажнику легкового автомобиля, однако извлекает не ружье, а ящик с бутылками и, поиграв в солнечном луче пробкой с изображением триумфальной арки на пивном бочонке, вручает его по назначению.

– Пошли, Гришань, в баньку – пора!

Банька, видимо, финско-русская. В ней очень жарко и очень влажно. Нахоженная и насиженная, она представляет собой апофеоз сегодняшнего дня, изолированный рай, зал ожидания перед вступлением в nirvanu. Сейчас на лавке четверо – пассажиры «Волги». «Сашка у нас из кержаков...» – тянет Юр Иванович, и дружество погружается обратно в молчание, прерываемое удовлетворенными вздохами. Женя, как самый молодой, работает вениками. В какое-то мгновение отец не выдерживает и от общего счастья срывается на свежий воздух, чтобы навзничь плюхнуться в ручей, где он на миг – надеюсь, что лишь на миг, – теряет сознание. В настоящий момент я вижу в ручье, метров в двухстах ниже по течению, еще одного лежащего мужчину, с расквашенным лицом, или – попросту – с его отсутствием. Я вижу его в воде – отражение снесенного почти начисто лица, – поскольку лежит он животом в ручей, в позе столь же неловкой и неестественной, как у ободранного козла в багажнике милицейского УАЗа.

На следующий вечер – небольшой, так сказать, прием, организованный директором перчаточной фабрики, сделавшим реальной всю эту ошеломляющую командировку. Отец оформлен как мастер-наладчик вязального оборудования, больница позволить себе такое не смогла. Самого директора вижу смутно. Лица двух женщин имеют налет нездешней если не красоты, то эфемерной изысканности. Наверное, как и помидоры, семена которых были завезены ссыльными с Западной Украины, то есть из тогдашней Польши. Сапоги-чулки, джемперы-лапша, замшевые юбки. Лица выказывают интерес. Еще несколько персонажей одеты в джинсовую ткань, хорошие башмаки, держатся надменно-расслабленно или же – переверну оптику – скованно-валяжно. На столиках – кроме уже початых и отставленных местных разносолов – абаканские пряники, томский мармелад, красноярский «Кара-Кум» в импортных вазах матового стекла цвета ультрамарин. Туристы пробуют из вежливости, придвигая хозяевам раскрытое польское «Пташье молочко» и куйбышевское обсыпное «Раздолье». Столичная, в основном, профессура. Выступают на Западный Саян. Доктор Плотников развлекает их рассказами о героях своей молодости, бардах, поэтах. В городе Либава доктор знал некоего Арона Круппа, сына Якова из двинских евреев – впрочем, это Ротковиц был евреем двинским, а Круппы были евреями даугавпилсскими. И этот Крупп кажется ему самым искренним трубадуром, трогательным и самым честным... не слышали? Запел он примерно к середине оттепели. Не настаиваю... Между прочим, тут у нас неподалеку и погиб... Нет, ну да... Нет... «Вы не считаете, что во вдохновении есть нечто священное? – полумечтательно, полупрезрительно сузив глаза, закуривает пахучую сигарету из бежевой пачки одна из туристок. – Мистичное, если использовать специальную терминологию. Высшее. Осознание того, что ты не такой, как все, что тебе позволено взлететь за пределы наших установленных норм и рамок?»

(Полуофициальные застолья сквозь туман моей памяти. Вечный цыпленок табака, сулугуни, дагестанский коньяк. Тамбовская ветчина, заливная рыба, само собой. Бывала черная икра, крабы тоже. На сегодня – кроме сулугуни – могу только вспоминать, что это такое.)

– Вы это о Раскольникове? Скажу вам как психиатр – маньяки тоже мистичны. Где сможете провести границу?

– ...Так проникновенно пел стервец; казалось, самое важное в мире – это сидеть и ждать, пока тебя не снимут с горного плато.

– Раскольников? Неожиданно, честно говоря. Но что-то здесь не так. Достоевский о другом, мне кажется.

– Достоевский, я уверена, не до конца постигал современность...

– Зато домашний дебош с кровопусканием, – вмешивается Женя, – он нисколько не мистический. Давеча даю наркоз одной бабенке с Комплекса, а у нее свежий порез на уровне таза. Спрашиваю – откуда, отвечает – муж подколол.

Доктор Плотников артистично снимает напряжение:

– Знал я одного певуна – тот ночами любил облежаться с крыши. Выходил через дверь на пологий скат, и однажды – в тумане – не заметил, где крыша заканчивается...

– Техника безопасности, – отвлекается от своего кружка майор или капитан, точно не вижу. – Не ходи без касок, не люби хакасок... Ну а чё такого? – в ответ на недовольный смехок: – Кругом стройки – и сифилис.

Разговор сам собой переходит на преступность. Народ у нас здесь душевный. Но случается всяко. Бывает, люди пропадают. Двинут в тайгу – да и не вернутся. А кто знает, может, надумали перебраться куда. Сменить, что называется, место жительства... Ищем, само собой...

В избранном кругу – доверительное.

– ...Есть одно специализированное учреждение. Не скажу, кого готовят, но я не об этом. Подчиняется напрямую... Нет, никто... И один, скажем так, преподаватель решил поделиться опытом, задумал выступить на краевой конференции. Хороший мужик, только чересчур восторженный. Святой, можно сказать. Как он туда попал, не очень понятно, видать, не предупредили его хорошенько, а может, завихрение какое в голове. Начальнику спецчасти с почты передали письмо, письменную заявку на выступление. Перехватили как? По обратному адресу... по списку, Мышин его фамилия, один он тут Мышин. Не Мишин. А начальник возьми и свози его в лагерь, по договоренности, как бы для обмена опытом, а тот, значит, увидел кое-что и с глузду съехал, да и подался в бега. «Прикинь, – начальник мне, – сколько ресурсов я трачу, чтобы они жили как в оранжерее? – Вот-вот... Хотелось бы понимания, конечно, мне тоже, но для дела важнее долг». А я, мол, ты заради долга не пощадишь ни себя, ни меня! Короче, если вдруг как-нибудь где-нибудь у вас там слушок пройдет или сам объявится... Ладно, помянем идиота.

– Его уже, что ли?

– А хрен его...

– А помните, у Блока – какой огромный плакат, какой огромный лоскут, – говорит там, вдали, доктор Плотников. – Хитрый Блок так написал, что читатель сочувствует тем, кто повесил плакат, и смеется над старухой. Поэтому его сразу и напечатали. Но я старухе сочувствую, а авторов плаката не ценю. И не смотрите так, дальше не пошлют...

В этот момент я вздрагиваю – не из-за Блока, конечно. Я вспоминаю мужчину без лица, лежащего в ручье, и напрягаюсь.

После подобного я, обычно уже на следующее утро, принимаю в оздоровительных целях какую-либо из маминых историй. Именно мама, пусть скупое, но рассказывала мне о своем детстве, о моем детстве, нашем с сестрой общем детстве и так далее. Допустим, про оттепель, закончившуюся с рождением меня.

– Оттепель? Этого слова я не знала. Впервые услышала от сам знаешь кого, но значения не придала. Он как-то в разговоре с С. Г., который уже был дома, сказал, что читал «Оттепель». Это слово прошло мимо ушей. Когда это было, я не помню. У нас в памяти была только смерть Сталина. Линейка, все плакали, собирались на похороны, но меня не пустили. Но точно помню, что я и не хотела. Почему – не знаю.

После тех страстей на его похоронах все быстро подзабылось, и жизнь пошла своим чередом. У нас была однообразно убогая жизнь (я так думаю). Хотя помню лишь хорошее. Интересно, что в школе тоже никто ничего не говорил. Я это подтвердила в разговоре с Юрой. Он даже с трудом вспомнил слово «оттепель», хоть он и в своем уме. Впервые мне рассказал про своего папу, который уехал работать на Север, но причину он узнал много позже: поехал сам, чтобы не отослали.

Как и почему я и Юра не помним оттепели – думаю, что мы не помнили и «зимы». У нас дома, во дворе, в школе, среди наших ребят никто ничего не знал. Если старшие и знали что-то, то ничего не обсуждали. А уже начав читать, узнавать... В дальнейшем все это ощущалось не через призму пережитого – мы зимы не переживали. Мы – это я и мои сверстники на Пресне. Первый раз я услышала, что в стране что-то изменилось, когда

приехали родственники из Америки, когда прошел симпозиум. Я думала, что это также в порядке вещей, так должно быть, такая у нас хорошая гостеприимная страна. Думаю, все было от глупости и серости нашего пресненского содружества. Есть и другой вариант. Может быть, кто-то из знакомых ребят знал, понимал, переживал – Гриша, например, – но они молчали. А вот когда приехали, я стала иногда прислушиваться к разговору, тихому, шепотом: «надолго ли», «как ты, Серж, смог пережить», «как теперь твоя работа», «может, вернут квартиру» (какую – я, конечно, не понимала), «как дальше». Вопросы робкие, их было мало – при мне, – но и они до меня не доходили толком.

С Гришей мы об этом вообще не разговаривали. Приехали родственники, богатые, знаменитые, привезли всего и много, одели нас, вывели на симпозиум, где мы болтались целый день, красиво одетые, сытые. Мне всё в радость, но Гриша ничего не рассказывал. Дома тоже. Даже не очень расспрашивали нас о том, где были и что видели. А поскольку мы уже расписались, все подарки принимались как должное. Да и жизнь была жутко тяжелая и запутанная. Расписались, свадьба, учеба, жить негде и не на что. Но все стало как-то лучше. Еще могу сказать, что когда решили расписаться, папа и мама особенно не были рады, но не отговаривали. Мне тогда впервые очень коротко объяснили, где был С. Г., что это была ошибка, но о «жуткой зиме» никто не говорил.

Даже когда мы стали бегать на сборища молодежи к памятнику Маяковского, где читали стихи молодые поэты, я не понимала, что это – оттепель. Общее молчание дома и вокруг меня не будили во мне желания узнать какую-то правду о тех временах. Не знали зимы, не знали и оттепели! Интересно, что когда все опять стало идти к «зиме», эти так часто повторявшиеся слова – ну вот, всё сначала... – наверное, и заставили меня обратиться к прошлому, вспомнить тихую, плачущую незаметно В. В., ночное печатанье на машинке, поездки с книгами к странному знакомому, закрывание дверей, приход тихой приятельницы, какие-то письма, очень скудные воспоминания Гриши о голоде, холоде и одиночестве. Он так всего и не рассказал. А я, когда дотумкала до всего, то и не спрашивала.

Не было у нас оттепели на Пресне.

Будучи статистически ближе к концу жизни, нежели к ее началу, четко отдаю себе отчет в том, что я (тоже) никогда ничего не знал. Простейшие вещи, которые иной знал, казалось, с рождения или постигал из воздуха – до них мне приходилось докапываться с огромным трудом, чаще всего мозговым. Мне даже хотелось нарисовать такую картинку – в пустом вагоне ночного метро сидит человек. Мы видим его сквозь большие окна, стоя на платформе. Он совершенно один – по крайней мере, прочие пассажиры сидят вдалеке от него. Он снял с шеи свою голову и держит ее на коленях: та устала за день и отдыхает. Он смотрит на нее с нежностью. Она – и только она ведет его по жизни, помогая там, где другие справляются руками, сердцами, чувствами (один проблемный вопрос – чем он на нее смотрит?). Я, к сожалению, его так и не нарисовал, но это сделал мой тогдашний друг и одноклассник, построивший после школы могучую терапевтическую карьеру.

Кроме того, мне фактически никто никогда ничего не говорил...

На следующий день майор зайдет в единственное в городе кафе, где подают зарип: густой бульон, заправленный мукой и сметаной, как соус, а в нем – пельмешки размером с ноготь большого пальца из вяленого мяса и сушеных ягод. Свободных столов в кафе не найдется, и он сядет за уже занятый. Напротив него окажется человек примечательной внешности, но это если присматриваться. А на самом деле внешность у него такова, что – ради сохранения собственного душевного покоя – присмотреться и не захочется. Людей подобного типа в здешних краях зовут «бичами». Бич, сидящий против майора, поведает примерно следующее. Да что темнить – ровным счетом следующее.

– Мужики в сушильню зашли с обеда, а тама бункер заподлицо с полом, и в нем ядро на масло скапливается, полубрак то есть, с подгнильдой, но уже без пленки, так вот, и он там на карачках стоит, пастью в орех всунул и как мышь его перемалывает... Оголодал,

почитай? А Кузьма подкрался так и лопату взял совковую, ну, она к патрубку прислонена стояла, мы думали, он пошутит, а он с размаху-то и в висок. Но этот крепкий, видать, был, в bunker рухнул, на спину, а сам шевелится. «Мужики, – мычит, – мужики!». А мужики – они на зоне мужики. Кузьма ему: «Ты кто?» – говорит и добавляет немного, а тот в ответ «Мыш-мыш-мыш», – уже не выговорит. Ну, Кузьма ему в пасть раззявленную орехов как сыпанет! Пасть черна от крови, а Кузя еще – ешь, мол, жри, давай! И плашмя... И еще – да чё такое на мужика нашло? Зарыл, чисто похоронил. Никто ни словечка, дебилы наши как-то сами подсустились, за ноги вытащили и повлекли по полу, куда – и не скажу. А пол жидовочка замыла.

Мне отчего-то позарез нужно было обо всем этом рассказать. Но как? Придумать один центральный персонаж? Тогда откуда мне это все известно? Я мог бы назначить обобщающим персонажем себя. Как бы меня тогда звали? Вася Брянский, Вова Якут, Зюп, Греча... Себя – героем? И меня будут звать Герман Греча? Ант Плошкин? Подруга Хасл? Пуга? Брыга? Буратино? Рики-Тики-Таки-жрет-колеса-как-бигмаки? Пацан с пятиэтажек? Буду ли я исполнен трагизма в стиле: «И когда я уже завязал, они снова меня туда втащили»? Я ведь должен быть трагичен – потому что трудно не быть трагичным, если твое больное воображение начинает писать (ударение на любой слог) романы о другой части воображения.

Человеческое достоинство в русском понимании конвенционально. Оно зависит от определенных условий, положений, статусов, судеб – возможно, свершений. Французы и финны, те же вон чехи и поляки сумели прийти к пониманию достоинства как абсолюта. Когда-то. Некогда. Раньше. Давно. Чтобы не заблудиться, будемте мыслить достоинство как некую неразделенность меня и меня – или наоборот: если тебя циркулярной пилой режут на части, лучше самому превентивно распастся на подробности и прошмыгнуть между ногами топчущих – меж их пинающих ног, – чтобы после склеиться за пределами галактики слез и унижений.

– Мышь... мышь... мышь... мышь...